

Наталья Ключарёва

Деревянное солнце

очерки и эссе

12+

Наталья Ключарёва
Деревянное солнце

«ЛитРес: Самиздат»

2009

Ключарёва Н. Л.

Деревянное солнце / Н. Л. Ключарёва — «ЛитРес: Самиздат»,
2009

Сборник очерков, написанных для газеты "Первое сентября" в нулевые годы

© Ключарёва Н. Л., 2009
© ЛитРес: Самиздат, 2009

Содержание

Безмянное	5
Космонавт Олег	8
Шамбала Кологривского уезда	10
Мыльные пузыри в чебуречной	15
Чужое дежавю	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Наталья Ключарёва

Деревянное солнце

Безымянное

Этот вопрос торчит в сознании, как заноза. Колышек в чистом поле, о который все время спотыкается взгляд, и от которого разбегаются все дороги души, все линии жизни. Не вопрос даже, а неутолимое и неутомимое вопрошание, заставляющее бесконечно двигаться в поисках ответа. Ответа, которого просто не может быть. Ведь поиски идут не в области точных формулировок, а там, где все уловимо лишь краем глаза, исподволь, между строк. Что же это?

Безымянное чувство России, требующее постоянного отклика, каждую минуту нового и живого. Настоятельная потребность что-то решить (на что-то решиться?), сориентировать себя по отношению к тому, что происходит вокруг. И тщетные попытки пускай не вынуть из сознания эту щемящую занозу, но как-то выразить ее, как-то на нее отозваться. Прозреть за образами реальности, очевидными и безотрадными, какую-то невыдуманную надежду, которую невозможно увидеть, а только всем существом угадать. Угадать и поверить.

Энциклопедист Шусто

В

На стене старинного особняка в центре Нижнего Новгорода висит мемориальная доска, сообщающая, что некогда здесь состоялось первое в отечественной истории собрание общества астрономов. А в соседнем здании, где находится педагогический университет, работает мой знакомый энциклопедист.

Сергей Борисович Шустов – художник, музыкант, поэт, орнитолог, изобретатель и джентльмен. Список далеко не полный, хотя для одного человека и так избыточный.

Под крышей университета находится крошечный учебный планетарий, в котором Шустов показывает студентам галактики, временами прерывая пламенный научный монолог, чтобы при свете электрических звезд сыграть на синтезаторе фугу Баха. О Бахе, кстати, он написал обширный философско-музыковедческий трактат.

– Вчера мы тут с друзьями отмечали, – рассказывает Шустов, вращая звездное небо в поисках южных широт. – Во-первых, день астрономии. Во-вторых, 323 года назад родился наш Иоганн Себастьян. Пили красное вино, жгли свечи, играли на органе в четыре руки. Потом полезли на крышу, расчехлили телескопы в обсерватории и смотрели Марс! И Сириус! А вот Сатурн нам не показался.

Установив небо, Шустов мчит в соседнюю аудиторию. Поднятый энциклопедистом сквозняк шевелит листы реферата с кратким названием «Вселенная». А Шустов уже взывает к сонным студентам философско-теологического факультета:

– Спорьте со мной, философы! Возражайте, богословы! Земля – это конечная материальная система, поэтому и нам надо себя ограничивать. Бесконтрольное потребление – современный способ самоубийства. Человеку не нужны три машины.

– А мы бы не отказались, – вяло возражают философы, едущие на учебу в переполненных троллейбусах.

– В России проблема исчерпанности ресурсов еще никому не понятна, – восклицает Шустов в сторону, то есть в открытую дверь, за которой стоим мы с аспирантом Алешей. – У нас люди еще не наелись!

Несколько студенток придирчиво прослеживают траекторию преподавательского взгляда.

– В Шустова все девчонки влюблены, – шепчет аспирант Алеша. – Прошлым летом повадились носить ему букеты. А он посмотрит: ага, *Campanula rapunculoides*, очень рад! *Matricaria inodora*, добро пожаловать! Они краснеют, хихикают: о чем это он? На что намекает? А это всего лишь латинские названия цветов.

Шустов, иллюстрировавший Красную книгу Нижегородской области, знает в лицо каждую травинку. Для него это и не иллюстрации вовсе, а портреты. Рисунки бабочек, сделанные с микроскопической точностью Эрнста Геккеля, – тоже портреты. А портрет птички каменки пера нижегородского энциклопедиста Шустова висит в Европейской комиссии в Страсбурге.

– Людей я не рисую, – смеется Шустов. – Они ведь обижаются. Да и птиц я знаю гораздо лучше, чем людей.

Шустов людей обижать не любит. Он любит их радовать. Возьмет и посвятит какой-нибудь барышне портрет редкой птицы. Или стих напишет. Или просто одарит улыбкой, проносясь мимо, по пути с лекции на выставку, из частной гимназии в изостудию для детей-инвалидов.

Шустов успевает быть везде. И делать все. Появится в небесах комета – с отрядом школьников он карабкается по перевалам в горную обсерваторию на Кавказе. Случится затмение – и Шустов с охапкой детей уже на Алтае.

Поедет на летнюю практику – и в интернете появляется летопись деревни Старая Пустынь, где находится университетская биостанция. «Пустынные рассказы» Шустов пишет взапуски со школьниками.

«На тропе мы поймали хрущака и козявку, – пишут школьники. – Оказалось, козявка – родственник колорадского жука».

«Мне кажется, что туманы есть только у нас, в России, – пишет Сергей Борисович. – Нет, конечно, я отдаю себе отчет в том, что влага, испаряясь, должна давать “воздушно-паровые образования” везде, в любой точке Земли. На то она и влага. Но одно дело – “образования” и физические процессы, и совсем другое – русские туманы!»

А на полях «Пустынных рассказов» Шустов со школьниками балуются лимериками. Вот, например, про одного жителя Старой Пустыни:

«Житель Пустыни Коля Корова
Цвет лица имел нездоровый.
Все ему говорят:
Самогон – это яд!
Но не внемлет им Коля Корова!»
А это о самом Шустове:
«Сергея Борисыча Шустова
Положили на ложе Прокрустово.
Но, однако, он лег,
Как всегда, поперек –
Не действует ложе на Шустова!»

Этот образ из шуточного стишка почему-то накрепко засел в памяти. И всякий раз, вспоминая нижегородского энциклопедиста и автора 120 научных трудов Сергея Шустова, я вижу его именно таким: лежащим поперек страшного Прокрустова ложа, хулигански поблескивая очками и дрыгая худыми ногами в закатанных джинсах.

Но разлеживаться ему особо некогда. Сергей Борисович вскакивает и летит дальше. Навстречу спрятанным в русских туманах звездам, каменкам и хрущакам. Вовлекая в свою орбиту все новых и новых разинувших рты детей.

– Откуда в пяти граммах желудя берутся вещества, чтобы сотворить две тонны дуба? – доносится из тумана задорный голос энциклопедиста. – Думайте! Думайте, я вас умоляю!

Космонавт Олег

Космонавту Олегу всего тридцать пять. У него двое детей – Алиска и Алёшка, близнецы. В садике им никто не верит, что папа космонавт. И тем более, что он сейчас в космосе. Алёшка – плачет. Алиска – дерется.

Чтобы недоверчивые дети поверили близнецам, космонавт Олег однажды позвонил в садик. Прямо из космоса. Сейчас это легко осуществимо. И говорит:

«Включите громкую связь, я скажу всей группе, что звоню с орбиты»

Но заведующая сухо ответила, что группа гуляет, и положила трубку. Затем перезвонила Олегу домой и попросила его к телефону.

«Так он же в космосе» – удивилась жена.

Жене заведующая тоже не поверила. Решила, что они сговорились. И недолго думая, набрала Центр управления полетами. Когда и там ей ответили, что Олег сейчас на борту МКС, она несколько растерялась.

Иногда космонавтам устраивают сеансы прямой связи с журналистами. Как-то раз дама из газеты «Космос» долго допытывалась, чего им сейчас хочется. Они вежливо отвечали:

«А как вы думаете? Мы трое молодых здоровых мужчин. Полгода уже тут болтаемся. Чего нам может хотеться?»

«Вы мечтаете увидеть березки?» – с напором подсказывала дама, которой жаль было расставаться с заготовленным началом репортажа.

«Какие еще березки?» – Олег даже кувыркнулся от возмущения.

«Ну, а с чем же у вас ассоциируется Родина?» – поинтересовалась дама тоном следователя.

«Родина! – прорвало Олега. – С бетонными коробками, в которых мы все живем! С унылыми дворами без единого кустика, по которым я каждое утро волочу сонных близнецов в садик! С переполненным троллейбусом, в который я пытаюсь их впихнуть. С темным перекопаным пустырем перед садиком, где я сажаю близнецов на плечи, чтобы они не утонули, и на ощупь лезу через грязь, потому что там нет ни одного фонаря! Сказать еще?»

«Нет, достаточно», – сдержанно ответила дама и черкнула в блокноте яростную запятую на полстраницы.

Репортаж пошел на первую полосу. Жирный заголовок был виден уже на подходе к киоску: «Я мечтаю увидеть березы...»

Но больше всего Олег веселится, когда журналисты спрашивают, кем он хотел стать в детстве.

«Вы не поверите! – смеется он. – Космонавтом!»

Олег хорошо рисует и берет с собой на МКС специальные карандаши, приспособленные к невесомости. Но дел в космосе так много, что до рисования руки не доходят. В свободные минуты Олег просто смотрит в иллюминатор.

«Это неправда, что Земля оттуда кажется маленькой и хрупкой, – рассказывал он однажды. – Мы не настолько от нее удаляемся. Но сердце сжимается – знаешь отчего? – от атмосферы. Если б люди могли видеть, какая это тонюсенькая, нежная и непрочная пленочка! Все заводы бы вмиг остановились. Ни фотографии, ни фильмы этого ощущения не передают. Я когда первый раз увидел – плакал»

В одной из бетонных коробок белеют в окне два одинаковых детских лица. Уперевшись лбами в стекло, Алиска и Алёшка смотрят в темное небо. Заметив среди звезд движущуюся точку, на всякий случай машут ей рукой.

Шамбала Кологривского уезда

Владения языческой богини Костромы. Дремучее нутро Русской равнины. Сказочные, взлохмаченные леса. Имена рек – голос растворившихся без следа древних мерян.

Бездорожное и безразмерное пространство раскручивается перед тобой, как клубок: кажется – всё на ладони, рукой подать, а тронешься в путь – и целый день едешь, недоумевая, откуда оно берется, это неуклонно нарастающее расстояние.

Костромская земля – первый подступ к бесконечности, наша ближняя – пять часов от Москвы – бездна. Более родная нам, чем огромная Сибирь и титанический Урал, где русский человек до сих пор не житель, а поселенец.

Автовокзал в Костроме. Обманчивый в своей обыденности. И уже знаешь эту ловушку, этот неприметный капкан внутриобластных маршрутов, которые тянутся много дальше междугородних, но вновь и вновь даешь себя заманить.

Расписание – как «Повесть временных лет»:

«Галич, Солигалич, Судиславль, Чухлома...»

Растворимый кофе в буфете – словно снадобье, переносящее в другую складку мира.

Человек в резиновом плаще с острроверхим капюшоном вздыхает за соседней стойкой:

«Шабашил раньше. То муху продам, то червя. А теперь некому продавать – все в могилах.

Ни червя, ни мухи...»

За слепым стеклом автобуса – брезжит рассвет. А выберешься оттуда лишь в сумерках.

И первое, что увидишь при въезде в Кологрив – глиняную церковь в половину человеческого роста. Все как полагается: купол, пределы, даже колокольня – только маленькое.

Попутчики, с которыми уже сроднился, наперебой объясняют, что храм вылепил мальчишка из соседней деревни:

«Нет, обыкновенный мальчишка»

«Да, своими руками»

«Как зачем? Душа просила»

Еще в Кологриве есть несостоявшийся железнодорожный вокзал – рельсы в итоге легли в сотне километров отсюда. Правда, злословят, что местный купец отгрохал этот особняк вовсе не для пассажиров, а для своих многочисленных жен.

Теперь в кирпичном дворце – Кологривский краеведческий музей. С неизменным чувством лося и битой утварью каменного века.

Смотрительница плавает за тобой по пятам, как тяжелая сонная рыба. Ее отсутствующее лицо отражается во всех витринах, куда ты заглядываешь.

А вот и тот самый пиджак с разноцветными заплатками. Висит на стене, на аккуратных деревянных плечиках. Так и подмывает позвать пустой рукав: «Здравствуй, Ефим!» – но бдительная рыба не дает даже поднять руку.

Ефим Честняков родился в конце 19 века. В деревне Шаблово Кологривского уезда.

Его первые краски – тертые цветные камушки из реки Унжи.

Родители – простые крестьяне – искусства почитали за блажь. Учиться Ефим сбежал против их воли.

Сначала получил звание народного учителя. Шесть лет проработал в сельских школах и даже в училище для малолетних преступников.

А потом не выдержал – и рванул в Петербург: учиться на художника. Поступил в ученики к самому Репину. Но тот быстро сообразил, в чем дело. И учить Ефима отказался: чтоб не испортить.

В Петербурге сделана единственная фотография Ефима. Крупное лицо грубой крестьянской лепки, но при этом удивительно нежное, стыдливое.

В 1914-м он навсегда вернулся в Шаблово. Под негласный надзор полиции – за участие в демонстрациях.

От политики Ефим был бесконечно далек. Но он искал справедливости, всеобщего благоденствия, пробуждения народной души, дремлющей в обмороке тяжелого труда. Поэтому его путь, лежавший совсем в других пределах, мог ненадолго пересечься и с движением революционных масс.

Однако Ефим был очень кратковременный попутчик. В Шаблово он уже загадывал о большевиках такую загадку:

«Тверды как сталь и злы как вошь, ничем их душу не проймешь»

И распевал рискованную частушку:

«Где-то нищие дерутся,

То российска революция.

Теребят один другого,

Чуть почти что не нагого.

Ты, товарищ, мне не брат –

Больше у меня заплат!»

Говорят, мудрый Ефим и юродствовать стал, чтобы укрыться от хлынувшей в жизнь вездесущей политики. Роль деревенского дурачка давала мандат на неограниченную внутреннюю свободу. По словам крестьянина, знавшего с начальником Кологривского НКВД, Ефима спасло именно это:

«У него всю писанину забирали специалисты в Горький. И сказали, что не все дома. Он помешан. Как дурак. Смотрели специалисты хорошие. Они его считали подозрительным: он пророчил ведь»

Представляю этих «хороших специалистов» из НКВД, читающих в рукописных Ефимовых книгах, например, такое:

«Мир троичен. Самый первый план – вечный, он всех раньше – душа того света. Второй план – это тот свет. Мы живем в третьем плане. <... > В бесконечности вселенной есть дивные-дивные миры, например, есть миры человекоподобных, и с крыльями. И это я говорю не как гипотезу, а как действительность. Все люди человеки и я тоже, но у каждого человека есть то, что он знает точно»

Наверное, Ефиму и не пришлось прикидываться. Достаточно было просто быть собой: рисовать, лепить глиняных кукол, разговаривать с цветами и ручьем – чтобы люди, погруженные в заботы о хлебе, сочли его сумасшедшим.

«Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном, неслучайном, – писал Ефим. – Много ряби на поверхности вод, ею-то и занимается большинство. И душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь. Кру-

гом пасти и ловушки для всех, чтобы не было ни от кого капитального служения, не шли бы дальше ремесленного творчества. И так жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотинам... "

От Кологрива в сторону Шаблова тянется (но не дотягивается) грунтовая дорога, по которой два в неделю ходит рейсовый автобус. Сама деревня лежит немного в стороне. Деревянный чур с резной табличкой «Шаблово» и витиеватой бородой указывает место, где надо спрыгнуть с автобуса или попутки и пойти напрямиком в ромашковые поля.

Миновав два или три поля (глаз быстро теряется в отсутствии ориентиров), тропинка ныряет под косогор и упирается в дощатую лестницу, ведущую на Ефимов ключ. Все деревья вокруг обвязаны цветными лентами.

Ефим бывал здесь каждый день. Учил крестьянских детей, с которыми водил дружбу, слушать воду и понимать ее язык.

Одна из его маленьких учениц, будучи уже древней старухой, рассказывала, что здесь, у родника, как-то приходила к Ефиму Богородица в сарафане. Он в этот момент черпал ложкой воду.

«Боже мой, какой испуг – и лошка выпала из рук», – описывала это происшествие бабка то ли Ефимовым, то ли собственным стихом.

Другая крестьянская девочка переписала и сохранила сочиненную Ефимом поэму, где этот ключик открывал дверь в иной мир. Надо просто идти по нему, как по сказочной ниточке, и там, где он уходит под землю, – нырнуть следом:

«И к нашим царствам проводник

Тебе послужит сей родник.
На землю бережно ложись,

Руками цепкими держись,

Ногами в пропасть не скользи

И так над бездною ползи.
И в тайниках пещер земных

Узнаешь радость слов иных.
И мы там будем лишь одне,

Да цветны камешки на дне»

«Над евоным домом видели, шо вот как ангела трипещуца, – вспоминала третья старуха. – Все воссияло ночью... это ангела прилетели... ангела-то с крылышками...»

Местные жители верят, что и вода из Ефимова ключика, и земля с его могилы, и тополя, посаженные его рукой, лечат от всех болезней. В памяти народной он остался не как художник и философ, а как целитель и пророк. Начни расспрашивать о Ефиме – и почти наверняка получишь рассказ об избавлении от хвори или о сбывшемся предсказании.

Во время войны бабы бегали к Ефиму – узнавать о судьбе своих солдат. Говорят, ни разу не ошибся. Да и саму войну чувствовал заранее: привез за околицу тележку глиняных кукол. И когда сбежался народ – обычно Ефим устраивал веселые кукольные представления – взял палку и, плача, стал колотить по фигуркам. Люди перепугались. На следующий день началась война.

А в мае 45-го Ефим, пользуясь своей «дурашной» свободой, говорил ликующим односельчанам:

«Христос воскрес, победил смерть, радуйтесь – вот это победа. А военная победа – набивали миллионы, да и радость. Какая тут радость – слезы!»

Недалеко от Ефимова родника находится Зеленая церковь. Так называется лесная поляна, где на пеньке под открытым небом украдкой служились литургии. Ефим, друживший с царицей цветов и русалками, сюда тоже ходил.

В Кологривском районе 22 деревни обозначаются в бумагах страшноватым словосочетанием: «населенные пункты без жителей» (кем, спрашивается, населенные?). Долгие годы (уже после смерти Ефима) и Шаблово стояло пустым. Полуразрушенные избы зарастали крапивой, завалившиеся заборы терялись в траве. Казалось, жизнь ушла отсюда навсегда, и след многовекового человеческого присутствия вот-вот растворится в природе.

Но в 2001 году здесь поселилась семья Матюхиных из Костромы: отставной военный Александр Михайлович с женой Мариной и восемью приемными детьми. Они приехали целенаправленно к Ефиму.

Первое строение, возведенное в Шаблово, когда вся большая семья еще ютилась в вагончике, – двухэтажный дом-музей на месте, где когда-то стояла Ефимова «шалашка».

Уже потом в одной из тетрадок художника, сохраненных старухами в соседних селах, Матюхины прочитали и описание будущего запустения, и предсказание, что люди вернуться в Шаблово через сорок лет. Ефим умер в 1961 году. Между его смертью и появлением в деревне новых жителей – ровно сорок лет.

Матюхины в шутку называют свой музей – самым труднодоступным в России. Несмотря на это посетители, особенно летом, бывают чуть ли не каждый день.

На первом этаже, как при Ефиме, – маленькая сцена. Как и раньше, дети устраивают тут спектакли на сюжеты Ефимовых сказок. В честь самой известной – «Щедрого яблока» – в музей со всего мира привозят и присылают всевозможные яблоки: деревянные, стеклянные, фарфоровые, плюшевые.

На втором этаже стоит патефон с ручкой и несколько ящичков старых пластинок. Ефим, хоть и удалился от мира в глухую деревню, технических новинок не гнушался. Например, привез в Шаблово первый фотоаппарат и заснял «на карточку» всех односельчан от мала до велика.

С бревенчатых стен смотрят исподлобья недоверчивые крестьянские лица. Те же самые, что Ефим бесконечно рисовал толчеными цветными камушками из Унжи. Будто вглядывался и не верил глазам – и смотрел снова и снова, стараясь увидеть что-то за гранью видимого.

«От каждого человека исходят излучения: от доброго – добрые, от злого – злые, и ясно-видящие могут их видеть. Так что не только дела и слова, но и наши мысли имеют последствия не только на земле, а во всех мирах. Можно читать мысли», – писал Ефим в своих тетрадках.

В музее хранится принадлежавшая ему Библия, густо испещренная разноцветными подчеркиваниями. У Ефима был двойной учительский карандаш – синий с одного конца и красный с другого. Когда он с чем-то соглашался – обводил синим, а если спорил – то красным.

«И какого цвета больше?» – спрашивает каждый второй гость.

«Да поровну», – смеется Марина Матюхина, проводящая экскурсию.

Мир за пределами Шаблова узнал о Ефиме в начале 70-х. Искусствоведы из Костромы отправились в экспедицию по родным кочкам и болотинам – и в Солигаличе открыли художника Григория Островского, писавшего семейные портреты тамошних купцов.

Возвращаясь, разговорились с водителем попутного грузовика. Тот выслушал восторги окрыленных музейщиков и заметил:

«А наш-то Фимка чем хуже? У художника Репина учился. Знаете такого?»

Решили на всякий случай завернуть и в Шаблово. И собрали по избам целый ворох мерцающих утопических полотен, на которых русалки, ангелы и крестьянские дети идут, играя на дудках, в страну обетованную.

У кого-то картины Ефима висели в красном углу, у кого-то валялись на полу вместо коврика. Видимо, в зависимости от того, кем считали его хозяева: святым или дурачком.

Прошла череда выставок – в Костроме, Москве, Турине, Флоренции. Шабловского крестьянина узнал и полюбил, наконец, и здешний мир. В других мирах, в которых он «ходил, летал не раз», его, наверное, уже давно знали и любили.

Шаблово стоит на горе Шаболе. Отсюда видно далеко вдаль. Видно, как петляет среди темных лесов светлая Унжа. Как волны ветра прокатываются по верхушкам елей на том берегу. Как ныряет в сизых облаках бледное солнце.

И кажется почему-то, что именно отсюда, с этой птичьей высоты и заглянул Ефим за черту горизонта:

«С течением времени всё больше будет раскрываться прошлое и будущее вселенной. Жизнь многообразно будет проходить перед очами созданий... И жизнь Христа, земная и от века, всё более будет видна и понятна. И книги не нужны будут: очи увидят и уши услышат картины времён, эпох и переворотов, жизнь народов земли и непостижимого для ума нашего числа существующих созданий. Существа высшего порядка во вселенной уже видят, слышат то, что земля увидит в грядущем».

В последние годы (после публикации духовидческих стихов Ефима) сюда потянулись всевозможные искатели просветлений, разумеется, переименовавшие Шаболу – в Шамбалу.

А вообще-то «шаболой» местные жители называют любое высокое место. Так что Шамбала тут не одна. На всех хватит.

Мыльные пузыри в чебуречной

Кострома – самый безнадежный из всех провинциальных городов России, если знать его чуть больше, чем позволяет экскурсия в Ипатьевский монастырь или песня «Кострома – топ атош».

Кострома предстает передо мной некой внегеографической точкой, местностью, которой нет места на карте мира, черной воронкой на обочине вселенной, разверстой пастью, где без вести пропадают даже те, кто никак не должен погибнуть, кому так щедро, с лихвою отмеряна жизнь.

Да, я знаю. Ни блочные коробки, ни черные бараки, ни ржавые гаражи, ни бетонные заборы, ни обезображенные обрубки деревьев, похожие на безруких и безногих калек, не винуваты. Они сами – продукты распада. И город почти не причем. Он не убийца, даже не соучастник. Он – нежилое пространство, в котором угодно и удобно случиться беде.

Это было давно. В Костроме без передышки лил дождь. И мы с местными поэтами второй день пили костромской самогон, блуждая по кривым улицам этого темного царства.

На каждом углу мы почему-то покупали у промокших старушек букеты васильков и дарили друг другу. Периодически кто-то, остановившись посреди дороги, сгребал в объятия остальных и принимался плакать о том, что «скоро умрет». О чем же еще можно плакать в девятнадцать лет.

Потом мы забрели в чебуречную. Это самый предельный вариант темного царства. Тяжелый дух советского общепита, очередь с потусторонними лиловыми лицами, уборщица, пророчески гремящая ведром, продавщица в высоком колпаке, швыряющая на прилавок чебуреки в прогорклых бумажных обмотках.

Попав в чебуречную, поэты окончательно затосковали. А я, присев у стены, стала пускать мыльные пузыри, купленные мимоходом на рынке у одинокого лотошника в плащ-палатке.

Чебуречный чад на минуту посветлел. Очередь затеплилась чем-то человеческим. Уборщица перестала хлестать зловонной тряпкой по ногам и ушла в подсобку. Поэты, как щенята, носились за пузырями между высоких столиков. А один жуткий корявый мужик улыбнулся недоеденным чебуреком.

Двое из тех мальчишек, действительно, вскоре погибли. Ярослав любил Маяковского и орал «Нате!», оседлав ворота военкомата, когда его пытались забрать в армию.

Однажды ночью его понесло в поля за окраиной города, и он свалился в песчаный котлован. Нашли его через пять дней, и опоздали совсем чуть-чуть.

Эти пять дней: серое небо и песок, осыпающийся при попытках выбраться обратно. Осыпавшееся небо. Серый песок. Попытка. Еще попытка.

Сейчас на месте того котлована стоит многоэтажный дом. И дети ковыряются в песочнице, открытой всем ветрам.

А Игорь заснул с сигаретой во время очередного запоя. У него было прозвище «Хо», из-за стихотворения:

«Хо! Что случилось со мной?!

Свой пионерский значок

я потерял в горных монастырях Тибета».

Однажды он прочитал «Чапаева и пустоту» и впал в двухмесячный запой. А в другой раз встретил негра-таксиста ночью в поселке Волгореченск под Костромой. После чего тоже запил. От изумления перед жизнью.

«Как такое возможно?!», – восклицал Игорь, открывая зубами пивную бутылку, на скрипучих качелях в осеннем парке, где грязь намерзла торосами, и листья хрустели под подошвой, как лед.

Хо! Что случилось с тобой? И как такое возможно?

Остальные поэты живы по сей день. Хотя давно ничего не пишут, только пьют со страшными обитателями чебуречных и станционных буфетов, теряя ненужный здесь дар речи и забывая о самих себе. Костромской самогон – вещь безнадёжная.

Противостоять ему способна только память. И я помню. И несу в себе, как букет васильков, приколотый к сердцу, тех навеки девятнадцатилетних, мокрых мальчишек, которые плакали, ловили мыльные пузыри в чебуречной и однажды, когда я пыталась от них уехать, съели мой билет, не отходя от кассы.

Чужое дежавю

Мы ехали по ухабистой дороге, пропадая все дальше в поросшую черным ельником необитаемую уральскую землю. Нырки, прыжки, повороты – и монотонные повторы пейзажа, который, казалось, заново вырастал перед глазами с каждой новой высоты, будто мы кружили на месте, и время стояло столбом, как вода в карстовых провалах.

Мы тронулись из Перми сырым сероватым утром, и с тех пор освещение не менялось, день не наступал, и наше движение обозначалось только счетчиком, что накручивал уже третью сотню километров, да редкими дорожными знаками.

Цель нашего пути – деревня Кучино – тоже оказалась пришпилена к реальности одной лишь синей табличкой указателя – единственной внятной приметой этого места. Все остальное соскальзывало в беспредметную морось, из последних сил упираясь в жизнь гнилыми жердями и журавлями колодцев.

На краю деревни, казавшемся краем света, чувство угасания, сумерек мира становилось почти осязаемым. Репейник и обрывки колючей проволоки цеплялись за одежду. И казалось, нечто одушевленное тянется к нам из этой мерзлой грязи, присыпанной первым снежком.

– Когда мы приехали сюда первый раз, – сказала Татьяна Георгиевна Курсина, осторожно ступая по грудам битого стекла и ржавого железа, – неудобнее всего было от мысли, что на сотни километров – ни единой живой души. Но стоило так подумать – как мы увидели людей. Они ходили среди бараков и улыбались жуткими застывшими улыбками... Потом выяснилось, что часть помещений зоны занимает психоневрологический интернат.

Несколько полуразрушенных строений у деревни Кучино – это единственный в стране музей истории политических репрессий «Пермь-36». Историк Татьяна Курсина – один из его создателей и исполнительный директор.

В советское время зона «Пермь-36» имела особый статус. В этом лагере с двойной системой укреплений содержались настоящие враги режима, а не мифические японские шпионы. Здесь сидели лидеры национально-освободительных движений из союзных республик – некоторые были осуждены за вооруженные мятежи – а также известные диссиденты. Опасных заключенных этапировали в «Пермь-36» из мордовских лагерей, которые оказались недостаточно надежными: оттуда информация просачивалась за границу.

По воспоминаниям одного из лидеров литовского антисоветского сопротивления Балиса Гаяускаса, заключенные не знали, куда их привезли. Ехали в глухих вагонах, без остановок. Вокруг зоны – высокий забор. И вокруг барака, где жили, – тоже забор. Свое местонахождение определили по пению птиц. Балис Гаяускас по образованию орнитолог.

Вскоре информация стала утекать и отсюда. Сергей Ковалев продолжал вести и переправлять на волю «Хронику текущих событий».

Поэт Василь Стус, осужденный за публикацию стихов за рубежом, находясь в заключении, был выдвинут на Нобелевскую премию. Накануне заседания Нобелевского комитета Василь Стус погиб при невыясненных обстоятельствах в камере штрафного изолятора. Случилось это в 1985 году, когда Горбачев официально заявил, что в СССР больше нет политзаключенных. На самом же деле колония для врагов режима «Пермь-36» была закрыта только в 88-м.

Неприступная зона поразительно быстро пришла в запустение. Приехавшие сюда в начале 90-х пермские историки застали уже полную разруху да сумасшедших, которых кому-то, видимо, показалось удобно содержать в особо укрепленных лагерных бараках.

Когда был создан мемориальный центр «Пермь-36», психоневрологический интернат переехал в другое место. Добровольцы, в основном старшеклассники и студенты, отремонтировали несколько строений, в одном из них открылась экспозиция.

Туда, в музейный барак, и уходит Татьяна Георгиевна Курсина – отогреться от стылых уральских дорог и подготовиться к экскурсии школьников, которые вот-вот должны приехать. Я остаюсь одна во дворе зоны.

Делаю несколько шагов, заглядываю в оконный проем соседнего барака, вижу упавшую наискосок кровельную балку, сухие остовы крапивы, снежную крупу на полу. Достāju фотоаппарат, чтобы сфотографировать вышку конвоя. И вдруг ловлю себя на странной скованности, вороватости движений. Будто я делаю что-то недозволенное. Будто кто-то наблюдает за мной, и сейчас последует окрик. Ветер доносит яростный лай собак – и спина холодеет. Секунду спустя понимаю, что это брешут псы в деревне Кучино, запоздало откликаюсь на наш приезд. Стряхиваю с себя наваждение. Иду дальше, зачем-то повторяя про себя, что *я свободна*. Поднимаю глаза на двухэтажное здание для лагерной охраны – и сталкиваюсь взглядом с человеком в форме. И опять – на мгновение становится нехорошо, хочется провалиться сквозь землю. Спыхватываюсь, вспоминаю, что музей круглосуточно охраняется, а значит, на меня – без всякой злой мысли, просто со скуки – смотрит дежурный милиционер. Из того же окна, откуда вохровцы наблюдали за врагами народа.

Тут я понимаю, почему Татьяна Георгиевна так быстро вошла в музей. Не только из-за холода и предстоящей экскурсии. Это единственное место, где можно укрыться от Зоны, вырваться из чужого дежавю. И я спешу сделать то же самое.

“Вам тут работать не страшно?” – спрашиваю я заведующую музеем Любовь Третьякову.

“Первое время было не по себе, – откликается она. – Я все ходила и твердила: ты на свободе, тебя здесь никто не держит, ты можешь уйти в любой момент. Теперь привыкла. Но иногда все равно находит”.

На меня в тот день *находило* еще раз: во время экскурсии, когда меня – для наглядности – на одну бесконечную минуту заперли в карцере внутренней тюрьмы, где держали (порой по полгода) особо опасных зеков, например, автора «Хроники текущих событий» Сергея Ковалева.

Хмурый свет предзимнего дня едва пробивался сквозь двойные решетки. Температура – почти как на улице. Из мебели – бетонный стол и деревянные нары, на которых спали прямо так, без матрасов и тюфяков. Все выкрашено казенной синей краской с застывшими подтеками, от которых почему-то особенно тошно.

Там, в штрафном изоляторе, я поняла: источник моего страха не прошлое, не генетическая память, не излучение места, пропитанного человеческим страданием, а будущее. Нет уверенности, что все закончилось, что это музейное «как будто» уже никогда не обернется ничьей реальностью. Попадая в зону, против воли примеряешь ее на себя, и не потому что «от тюрьмы и от сумы», а из-за отсутствия ощущения исторической завершенности.

Когда научный сотрудник музея Олег Нечаев с грохотом отпер синюю дверь карцера, я спросила его о том же:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.